

ПОЭЗИЯ ОТВАЖНОЙ ДУМЫ

Косме Чубаров, 1991, 4-е изд.

Конниц сабельная лава,
Шлемов красная звезда...
Ворошиловская слава
Начиналась тогда.

Не затихнет, не смирится
Ветерок матросских лент,
Он стоял, в дыму, Царицын,
Как легенда из легенд...

Он жил и писал в знойном,
даже в каком-то душном лирическом климате.

В степях нематый снег
дымится,
Но мне в метелях не
пропасть,—

Одену руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть.

Читаешь такие стихи и думаешь, что попал в какой-то необычный мир, в какое-то состояние после катастрофы в природе, когда остаются только еще не успевшие окаменеть образные сгустки.

Властью своего слова Павел Васильев хотел развоплотить недвижность мороза, застылость камня, почувствовать теплотворность силовых линий истории. Сильный, волевой лирический характер определяет притягательность его поэзии. Надо сказать о «гулливерстве» Павла Васильева, о той чрезмерности в чувствах, в интонациях, в напряженной энергии слова. Это взгляд — не мимо, не над миром, а взгляд сверху, когда вещи видятся в неожиданных, как бы укрупненных подробностях.



Лохматые тучи
Клубились над нами,
Березы кружились
И падали, и,
Сбежав с носогора,
Текли табунами,
И шли, словно волны,
Курганы в степи.

Это и есть «гулливерское» видение мира. Гулливер — космонавт сам в себе. Его великанство смещает угол обозрения мира — видны, запечатлеваются только самые большие детали подробности. И вместе с тем его зрение схватывает одновременно множество разных явлений, которых разом, обыкновенным зрением, увидеть вкуче нельзя. В этом смысле мир его — без подробностей.

Сами явления становятся подробностями: «Я вспоминаю отческие пашни, луну в озерах и цветы на юбках у наших женщины, первого коня. Которого я разукрасил в мыло. Он яблоки катал под красной кожей, свирепый, жрал, откапывал клубы песка и ветра». Васильев стремится все «омонолитить», утяжелить, вещественности придать еще большую вещности, сгустить запахи и краски, заставить даль течь вспять, назначить ей предел, а тишину запеть, то есть проявлять во всем прямо противоположные свойства: «молчи и ступай осторожно, бойся тронуть плакучую медь тишины. Сколько мертвого света и теплых дыханий живет в этом сборище листьев». Несовместимые подробности поражают своим звучным и неукротимым желанием жить, что и заставило говорить о Павле Васильеве, как о поэте с удесуртеренным чувством жизни. В его стихах о любви как бы нет деления на поэта и лирического героя. Он сам отвечает за свое чувство. Рыцарски прямодушно.

Здесь поражают опять как-то глыбистость, монолитность чувства, от имени которого поэт ведет свой разговор. Он, если восхищается красотой своей любимой — то прежде всего чрезмерностью этой красоты. И, как ни странно, эта чрезмерность вызывает впечатление нравственной силы и даже какого-то трудно сохраняемого целомудрия:

Какой ты стала позабытой,
строгой,
И позабывшей обо мне навеки.
Не смеяйся же! И рук моих
не трогай!
Не шли мне взглядов длинных
из-под век.

Это отречение от любви и от любимой. Отчаянное неразделенного чувства, несогласность со случившимся. Но отчаяние через отречение и неумение отречься от своей любви приводит к капитуляции, к смиренному согласию, усмирённости:

Далекая, проклятая, родная,
Люби меня хотя бы не любя.
Покорность эта не уничтожительна — своеобразный бунт на коленях: «Я знаю все, я проклял всю тебя».

Из немой слепоты еще не затененного для творчества сердца вырастает прозрение, жажда мастерства, как подлинного бытия земной, привязанной, пригвожденной к земле тысячами подробностей красоты. Оттого так ликует его тоска:

Мню я быть мастером,
затосновав
о трудной работе,
Чтоб останавливать мрамора
гиблый
разбег и крушенье.
Лить жеребцов из бронзы
гудящей,
с ноздрями, как розы,
И быков, у которых вздыхают
острые ребра.

Павлу Васильеву претит всякое самоограничение в форме стиха — лирическая энергия его поэзии разрывает оболочку стиха, и мастерство как таковое отступает на второй план перед поэзией, не терпящей ограничения ни в чем. Ремесло его оборачивается сти-

хийностью, а сама форма — стесненностью. Нет, ему нужно лирическое самовластие, ему претит все ремесленное, ему надобен во всем взрыв, отсутствие предела. О стиле его лирики можно сказать — это разгневанный стиль, в котором стихийность вдохновения не может усмириться готовыми формами. И вот перед нами неусмирённое бытие страсти, не терпящей ни тихих полочувств, ни крикливых проговариваний о себе.

Расцвет его творчества упал на середину тридцатых годов, время коллективизации, время великих строек — это ощущение постоянной напряженности, состояние взвихренности и новизны, к чему был так чувствителен его внутренний настрой. Это время вечной ускоренности соответствовало его внутреннему состоянию, и он, может быть, как никто из поэтов тех лет, выразил его характер и ритмы, когда:

Тревожно гудят
Провода об отваге,
Протяжные звуки
Мы слышим во мгле.
Развевны по ветру
Красные флаги,
Весна утвердилась
На талой земле.

В нем жило нечто большее, чем лирическое начало. Сгусток пережитого, уплотнение и времени, и явлений до одного емкого образа требовали выхода на эпический простор. Необычайная сила лиризма как бы перетекала в эпические картины мира. Эпика требует особого, широкого артистизма, видения времени — лириче-

ский поэт создает характеры из себя, как бы множит своих лирических двойников. Вот почему герои поэм Павла Васильева в чем-то очень похожи на него самого.

Вершины у Павла Васильева — поэмы «Соляной бунт» и «Кулаки», стоящие в одном ряду со «Страной Муравией» А. Твардовского. Поэмы о земле, вернее, о глубинном чувстве земли, и той нови, которая преобразила нашу деревню.

Острые классовые противоречия разрешаются в острой схватке жизненного начала с конформизмом привычного. И здесь все на пределе, амплитуда действия экстремальна, герои не столько живут, сколько «событийствуют», сами герои — как события.

Павел Васильев пришел в нашу поэзию со своим стихом, в котором есть что-то от скульптурного начала. Это не письмо, а лепка, в которой содержание проявляется и проверяется постоянно самой формой. Он умеет из нежной материи своего сердца лепить стихи, вот почему, несмотря на громадную энергию, они не кажутся нам грубыми, только порой покажется, что перед тобой человек с воспаленным сердцем, который торопится высказаться о себе и своем сердце:

Тогда в согласье с целым
светом
Ты будешь лучше и нежней,
Вот почему я в мире этом —
Без памяти люблю людей.

И здесь, в стихах, как в поэмах, у него не случай, а со-

бытие — повод для творчества. И разлука, и печаль, и ожидание для него не простая случайность, а сама жизнь. Печаль учит сердце нежности, и нежностью мыслит сердце поэта. У великого учителя — жизни — прошла трудная и сложную науку поэзия Павла Васильева.

Не добраться к тебе! На
чужом берегу
Я останусь один, чтобы
песня окрепла,
Все равно в этом гиблом,
пропащем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом,
хоть пеллом.

Это нарисовано сердцем. Перефразируя известное высказывание об Эйнштейне, можно сказать о поэтическом мире Павла Васильева, что он относился к Вселенной так, словно ей пять лет от роду. Он шел к большому классическому мастерству, он воспитывал в себе это чувство, понимая, что поэзию определяет

Не жидкая, скупая позолота,
Не баловства нафтачки
продувной,

Строителя огромная работа.
Были в его жизненной биографии сложности. М. Горький писал Павлу Васильеву, что недожизненное его дарование требует внимательного воспитания. В том же письме великий писатель выразил уверенность, что Павел Васильев войдет в советскую литературу «как большой и своеобразный поэт». Так и случилось.

В эти дни Павлу Васильеву исполнилось бы семьдесят лет.

Владимир ЦЫБИН.